

И. К. Шаповал



КРАСНЫЙ
КАМЕНЬ

Николай Николаевич Шпанов

Красный камень

Андрей из Архангельска
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=142508
Сборник «Красный камень»:

Содержание

Николай Николаевич Шпанов	4
Голубеграмма из Усть-Сысольска	5
1. Куда мы полетим?	8
2. Куда мы летим?	11
3. Огни святого Эльма	19
4. Враги наши кумулусы	25
5. Съесть или выпустить?	35
6. Тайга и сонеты	41
7. Капитан – самозванец и гурман	49
8. Трубка мира	60
9. Все возвратить ты можешь многократно!	71

Николай Николаевич Шпанов

Красный камень



Голубеграмма из Усть-Сысольска

Судьбы писателей не одинаковы. Одним удаётся с первого раза написать произведения, открывающие перед ними двери литературного Олимпа, другие по несколько десятков лет умудряются оставаться в рядах скромных середняков, не проникающих дальше олимпийской прихожей. Но от этого литератору не становится менее дорого то, что он сделал на протяжении своего литературного пути. С годами появляется опыт, обостряется глаз, повышаются вкус и требовательность к самому себе. Вместе с тем подчас какой-нибудь пустяк, сделанный много лет назад, сохраняет для автора свою ценность. Вероятно, тут играют роль ассоциации, связанные с этим забытым было пустяком.

Не знаю, как бывает у других, но мне до сих пор дорог небольшой очерк, написанный тридцать лет назад. Он ценен для меня тем, что это моё первое произведение, напечатанное в большом литературном журнале. Вероятно, в очерке нет особых литературных достоинств, но он – важная веха на моем жизненном пути. Очерк мил мне потому, что его я первым

увидел в печати; потому, что после его опубликования я получил первые читательские письма; потому, что после его появления редакции впервые обратились ко мне, как к писателю.

А написан он был при таких обстоятельствах.

В один весенний день 1926 года – да простит мне читатель этот трафарет, но день был действительно прекрасен весенним теплом, светом, перезвоном трамваев и гулким цокотом подков на Никольской, где тогда ещё не было ни потока автомобилей, ни густой толпы стремящихся в нынешний ГУМ, – в тот весенний день на моем редакционном столе позвонил телефон.

В трубке я узнал голос главного инспектора Гражданской авиации Владимира Михайловича Вишнёва.

– Вы живы? – спросил он.

– Пока да.

– И здоровы?

– Кажется...

– Странно, – удивлённо проговорил Вишнёв, – а у меня на столе лежит молния из Усть-Сысольска. Там поймали почтового голубя с голубеграммой: воздухоплаватели Канищев и Шпанов совершили посадку в тайге и просят помощи. Не знаю, стоит, ли снаряжать спасательную экспедицию на тот свет? Ведь за истёкшие полгода волки, наверно, обглодали их кости.

Мы оба рассмеялись. Речь шла о голубеграмме, отправленной Канищевым и мною полгода назад из таёжных дебрей Коми.

Мы поговорили с Вишнёвым о «надёжности» глубины почты и на том расстались. Но в тот же день мне позвонил редактор «Всемирного следопыта» Владимир Алексеевич Попов. Он любил «открывать» писателей и умел подхватывать всё, что интересно читателю. Из случайного разговора с Вишнёвым Попов узнал о голубеграмме. Теперь он просил меня описать своё таёжное приключение для читателей «Следопыта». И вот что я тогда написал.

1. Куда мы полетим?

Я был назначен вторым пилотом сферического аэростата «1400», участвовавшего в первых советских воздухоплавательных соревнованиях в свободном полёте на продолжительность.

Мой товарищ по полёту – первый пилот, профессор Военно-воздушной академии Михаил Николаевич Канищев был не по возрасту грузный, медлительный человек.

Последний вечер перед полётом он просидел, угрюмо уставившись дальнотормими глазами в голубое поле синоптической карты. Вопреки практике и здравому смыслу, он пытался разгадать намерения капризной атмосферы по прихотливо выходящим линиям изобар. Канищев не был ипохондриком, но за синоптическими картами он становился ворчуном. Прогноз был по обыкновению сбивчив: вечером он противоречил тому, что предсказывали утром, а утром небо наглядно отрицало вечерние утверждения метеорологов. И так без конца. Поэтому Канищев настойчиво пытался сам по карте движений атмосферы представить, в каком направлении понесёт нас завтра воздушная стихия. Нам следовало избрать такую высоту и такое направление ветра, чтобы пройти наибольшую

шее расстояние и пробыть в воздухе дольше всех. По-видимому, Канищев, так же как я, не забывал о том, что у нас есть серьёзный соперник – экипаж Федосеенко – Ланкман. Правда, аэростат у нас новый, ещё ни разу не бывший в полёте, и объём его – тысяча четыреста кубических метров – позволяет рассчитывать на хороший запас балласта. Но все же... Мало ли всяких неожиданных «но» ждёт аэронавта в свободном полёте!.. Да к тому же мы не можем похвастаться сеткой: старая, взятая с аэростата меньшего объёма, она не внушает доверия.

– А знаете, маэстро, – задумчиво заявляет Канищев, – дела-то не блестящи. Ветры самые отвратительные: изо дня в день на северо-восток.

– Бросьте ваше гадание на кофейной гуще. Нагадаете север, а полетим на юг. Меня, откровенно сказать, больше занимает вопрос – сколько продержимся?.. А где сядем – не все ли равно? Выходы отовсюду есть. Гадать – только время терять. Идёмте-ка лучше на боковую. Завтра чуть свет, – на ноги.

– Валяйте, а я ещё разберусь в сводках.

Но, по-видимому, в конце концов и ему надоели замысловатые узоры изобар с беспорядочно смотрящими во все стороны стрелками ветров. Сквозь сомкнутые веки я видел, как он клюёт носом над синоптическими картами. Свет в комнате погас, и я услышал

возню. Канищев сопел и кряхтел так, словно делал тяжелейшую работу.

Я подумал о неугомонности человеческой натуры. С его комплекцией и сердцем сидеть бы в кабинете и предаваться изучению излюбленной истории воздухоплавания. Ан нет!..

2. Куда мы летим?

День прошёл в хлопотах, сумерки уже надвигались, когда приготовления к старту были закончены. С бортов корзины сняты балластные мешки. В самой корзине все уложено в надлежащем порядке, приборы – на рейках, карты и провиант – в сумках по бортам, тяжёлый балласт – в мешках на дне корзины.

Рубящий слова голос стартера:

– Дать свободу!.. Вынуть поясные!

Восхищённо-растерянные физиономии мальчуганов, тесным кольцом обступивших старт, стали быстро уходить вниз. Сердце у меня ёкнуло при виде того, как с места в карьер Канищеву приходится травить балласт, чтобы не налететь на мачты радио, нехстати выраставшие на нашем пути. Но вот и эти препятствия остались в стороне. Мы были на чистом пути. Внизу, в каких-нибудь двух сотнях метров, лежала Москва, отчётливо кричавшая гудками автомобилей и быстро уходящими шумами трамваев.

В самое сердце столицы врезались своими чёрными щупальцами пауки железнодорожных узлов. Мы пересекли одну за другой путаницы нескольких станций.

Становилось меньше домов, больше деревьев,

тусклой желтоватой листвы, спалённой дымным дыханием заводов, буро-красными коробками обступивших город. Но кончились и они. Свежели деревья. Свободней потянулись к небу их зеленые шапки. Расплывчатые пригороды Москвы утонули в зелени садов. Как браслетом отрезала «пределы города» Окружная дорога. Мы – за границами столицы.

Канищев не отрываясь сидел за приборами, время от времени посылая за борт совок балласта. Над Окружной дорогой он коротко бросил:

– Гайдроп!¹

– Есть гайдроп.

Один за другим уходили за борт аккуратно сложенные витки толстого морского каната. Я должен был сделать это так, чтобы Канищев не заметил толчка, когда гайдроп повиснет на обруче. Фут за футом канат уходил к земле. На руках сразу вздулись кровавые пузыри.

– Гайдроп вытравлен!

Берусь за бортовой журнал. Надо заносить данные каждые пятнадцать минут.

«18 часов 12 минут, высота 200 метров . Курс 29 норд-норд-ост. Температура 14 с половиной выше нуля».

¹ **Гайдроп** – толстый канат длиной 80 метров , выпускаемый за борт для уравнивания аэростата при посадке.

Из гущи деревьев, с жёлтых прогалин, донёлся задорный крик:

– Эй, дядя, садись! Са-а-ди-ись к нам!

Я поглядел вниз, на конец гайдропа. Сверился с компасом: курс 32, и ветер как будто много быстрее, чем по прогнозу. Мы шли со скоростью шестидесяти – семидесяти километров вместо предсказанных жрецами погоды двадцати.

Проплыли над Пушкином.

В стороне осталось Софрино.

В сумерках у станций смешно мельтешили озабоченные дачники.

Массивная фигура Канищева все так же молча торчала в своём углу у приборов. Время от времени он постукивал ногтем по стёклам, разгоняя сонливость стрелок.

Беспредельно далеко и вместе с тем как-то совсем тут, рядом, пылала вечерняя заря. Это были не лучи, а просто темно-розовое зарево, какого не увидишь с земли. Пыль и дым навсегда закрыли там от людей чистоту заката, и люди никогда не видят его в настоящей красе. Если бы они знали, как это здорово! И провозжает солнце невероятная, просто неправдоподобная тишина. Такой тоже не бывает на земле.

Быстро тускнел запад. Из багрового он превратился в лиловый. Потом темно-серая мгла затянула все

небо. И вот уже почти совершенно темно. Без помощи карманного фонаря невозможно разобраться в показаниях приборов. Мертвенно-белый луч на минуту выхватил из мрака коробки альтиметра и барографа. И снова все погрузилось в полную чернильного мрака ночь. Только призрачно фосфоресцирует своими чёрточками циферблат часов. Время от времени прошуршат в своей корзинке почтовые голуби, лениво переворкнувшись во сне.

– Закурим? – спросил Канищев.

Я вынул из сумки банку с монпансье. Это наши «папиросы». Чиркнуть на шаре спичкой – значит наверняка взлететь на воздух. Вероятность пожара – ровно сто процентов.

В десятке километров к норду остались огни Сергеева: небольшая группа мигающих жёлтых глазков, вкраплённых в чёрный бархат лесистых далей.

Курс все больше склонялся на ост. Вместо чёрного бархата лесов, под аэростат подбегала тускло-серая гладь огромного озера.

Справа совсем невдалеке бисерным венцом горел Переславль-Залесский.

Полет установился. Можно было закусить. Шли все с той же скоростью под курсом 33 —34 норд-норд-ост. Внизу – беспросветная тьма. Изредка промерцает одинокий глазок в какой-нибудь сонной деревушке,

и снова чёрная пустота, нет, ничего.

Под резким глазом фонаря карта, лежащая у меня на коленях, казалась светло-зелёным ковром леса. Лес без конца. Чем дальше к северу, тем зеленее делается карта. Это, может быть, и красиво, но такая красота вовсе не кажется мне привлекательной.

Твёрдой чёрной стрелкой вонзалась в поле зелени моя курсовая черта, упиравшаяся прямо в Ростов-Ярославский, он же Великий.

Действительно, через несколько минут впереди на норд-осте ярким пятном вырисовались его редкие огни. Подошли к городу. В нем царила полная тишина.

– Город Ростов!.. Город Ростов!..

Но наш рупорный зов остался без ответа. Ростов спал. Только из самого центра, с пятна затенённых деревьями ярких фонарей, доносились звуки оркестра. По-видимому, браваурным мотивом запоздалые ростовчане-великие старались отогнать сон. Мирно плескалось о тёмную набережную озеро. На нем – никакого движения.

В воздухе становилось все свежей. Лёгкая пена белесоватой мути временами совсем скрывала поверхность земли. Было все труднее определять направление нашего движения. Небесный свод блистал мириадами ярких светил сквозь широкие просветы в облаках, беспорядочно нагромождённых над головой.

Эти окна, в которые, мигая, глядели звезды, делались все меньше. Скоро облака начали набегать на аэростат. Решительно ничего не стало видно, даже самая громада нашего шара скрылась из глаз.

И без того редкие огоньки деревень стали ещё реже. Вероятно, их слабый мерцающий свет не мог пробиться сквозь туманную завесу низких облаков.

Те облака, что были пониже, бежали вместе с аэростатом, а верхние густыми тяжёлыми массами направляли свой стремительный бег под углом к нашему курсу – почти прямо на север. Из этого Канищев заключил, что нужно всячески избегать увеличения высоты полёта. В этом случае нас могло понести к Ледовитому океану. Тогда пришлось бы садиться прежде времени, даже не израсходовав балласта.

Холодная сырость забиралась за воротник. Неприятно зябла спина.

Судя по карте, оставалось рукой подать до Ярославля. Через каких-нибудь полчаса мы убедились в том, что так оно и есть. Прямо на нас шло светло-голубое зарево мерцающих ярославских огней.

Но в чём же дело? Почему вся масса огней не приближается к нам, а как будто уходит куда-то влево? Сверяюсь с компасом и вижу, что ветер резко меняется, курс круто склоняется к осту. Приближаемся к Волге, но вместо того, чтобы её пересечь, идём вдоль ле-

вого берега и даже уклоняемся на зюйд.

Курс быстро перешёл на 50, 60, 70 и продолжал склоняться к осту.

– В чем там дело, Николай Николаевич? Что за престная улица влево от нас?

– Матушка-Волга, Михаил Николаевич.

Улицей сказочного города-гиганта поблёскивали под нами огоньки волжского фарватера. Между бачками и створами от огонька к огоньку, шлёпая колёсами, полз пароход. Два ряда горящих огнями палуб отражались в чёрной воде. Их блики разбегались по зыблящейся от парохода воде. Но и это все осталось на норде. Опять мы оказались в плотной темноте.

Вглядевшись в фосфоресцирующую линейку компасной стрелки, отмечаю курс: уже 95. Снова из-под гайдропа показалась улица волжских огней. На этот раз мы шли ей наперерез и, оставив вправо тусклые огоньки набережной Плёса, опять ушли на норд-ост. Где-то очень далеко на зюйд-зюйд-осте остался утопавший в черноте городок. И снова мы погрузились в непроглядную темень. На этот раз ей нет границ. Небо и горизонт так же черны, как земля.

Таинственной жутью повеяло от донёсшихся с земли, из непроглядной мёртвой темени, двенадцати длинных-длинных ударов дребезжащего колокола: полночь.

Кругом все та же удивительная тишина. Изредка доносится с чёрной земли шорох гонимых ветром по лесу лиственных волн.

– Хорошо...

– Хорошо, – шёпотом подтверждает, Канищев. – Кто раз полетел, непременно полетит ещё.

В полном безмолвии время бежит в темноту.

Делается все свежей. Пора доставать фуфайки.

3. Огни святого Эльма

Среди ночного молчания, такого полного, что невольно говоришь шёпотом, где-то далеко, точно за обитой войлоком перегородкой, послышался глухой раскат – как будто бесконечно далеко произошёл обвал.

Раскат мягко прокатился по горизонту, перего-
раживая дорогу аэростату. Это было нешуточное предостережение. Гроза – бич воздухоплавателей: им приходится выбирать между возможным пожаром и немедленной посадкой.

Канищев ничего не сказал. А мне казалось, что обратить его внимание на приближающийся грозовой фронт – значило проявить малодушие: вдруг он только сделал вид, будто не слышал... Так мы оба продолжали молчать.

Ветер крепчал. Тяжёлые тучи, нёсшиеся наперерез аэростату, становились все плотней. Все реже мелькали в облачных прорывах клочки далёкого звёздного неба. Оно потеряло свою яркость, сделалось плоским, с мутными прозрачно-синими пятнами созвездий.

Единственным выходом было набрать высоту и пройти над грозой. Но этот здравый путь был закрыт.

Движение облаков говорило о неблагоприятном для нас – на большой высоте – направлении ветра.

Вот снова басистый раскат впереди. Он уже не такой мягкий и заглушённый. Точно накатывается высоким валом бурный поток. Через две-три минуты ещё – более сухой и короткий. Ему предшествовал пробежавший по небу неясный светлый блик. Похоже на зарницу. Пока далёкую.

– Ваше мнение, маэстро? – спросил Канищев.

Стараюсь угадать его мысль, но голос его безразлично спокоен. Приходится отвечать то, что думаю сам:

– Приготовить парашюты и лететь на той же высоте. Подниматься нет смысла, понесёт на чистый норд. Это нас не может устроить.

– Спустите парашюты за борт и приготовьте всю сбрую.

И он снова погрузился в свои приборы, а я занялся парашютами. Тяжёлые жёлтые сумки в виде перевернутых вёдер скоро висели на наружном борту по разным сторонам корзины. «Сбруя», поблёскивая карабинами и пряжками, была тщательно расправлена внутри корзины.

Новая яркая вспышка, как ракетой, осветила чёрную сетку хлынувшего дождя.

Голубой огонь, все ещё очень далёкий, но уже до-

стал точно яркий, высветил весь аэростат и корзину – с тёмными кружками приборов, с частым переплётом уходящих кверху стропов, с грузной фигурой Канищева.

Стало совсем неуютно от дробно застучавшего по тугой оболочке дождя.

– Может быть, гроза и очень хороша в начале мая, – с благодушной иронией проговорил Канищев, – но в конце сентября – это мерзость... Особенно в нашем положении.

Далеко впереди, просвечивая сквозь сетку дождя, мутным заревом показался большой город. При виде огней людского жилья мысль о грозе стала не такой неприятной.

– Ориентируйтесь! – сказал Канищев, мельком глянув на приборы. – Что это за город? Проследите курс по гайдропу.

Взяв в руку компас, я перегнулся через борт. И тотчас у меня вырвалось восклицание изумления.

– Что случилось? – поспешно спросил Канищев и тоже глянул за борт.

Весь гайдроп лучился бледным голубым светом, словно его густо смазали фосфором. Восьмидесятиметровая стрела, спускающаяся за борт в направлении земли, неслась в окружающей черноте, мерцая голубым ореолом.

Это было так необычайно и так красиво, что оба мы не могли оторваться от неожиданного зрелища. Даже забыли про приборы и курс.

Подняв голову, я увидел, что светятся и клапанный строп и разрывная вожжа. Правда, их свечение казалось менее интенсивным на более светлом, чем земля, фоне аэростата. Творилось что-то необычайное. Я не мог удержаться, чтобы не протянуть руку к стропам, желая проверить себя, и в страхе отдёргнул её обратно: концы моих пальцев тоже засветились. Повернувшись к Канищеву, я увидел, что и он уставился на свои руки. Издали было хорошо видно: они излучали мягкий голубоватый свет.

Должен сознаться – мне стало не по себе. Я тщательно обтёр руки платком и включил карманный фонарь, чтобы записать показания приборов. Но как только я его погасил и глаза опять привыкли к темноте, снова стал ясно виден странный свет, излучаемый всем такелажем.

– Догадываетесь? – с нескрываемым восторгом спросил Канищев. – Результат электризации атмосферным зарядом. Это явление довольно часто наблюдается в южных морях. Там такое свечение называют огнями святого Эльма. По поверью, всякий корабль, на котором появятся эти таинственные огни, должен... – Тут Канищев осёкся и деловым тоном до-

говорил: – Поглядите на землю и скажите – что это за группа огней под нами?

– Если судить по широкой реке, то, пожалуй, Кинешма. Но из-за облачности я так запутался, что утверждать не могу, – признался я.

Широкая лента реки тускло блестела внизу, отражая огоньки небольшой прибрежной деревни. Огней было мало. Они располагались на большом расстоянии один от другого, а скоро и вовсе исчезли. Только по крику петухов и редкому лаю собак можно было судить о том, что иногда там, во тьме, проплывали под аэростатом погруженные в сон деревни.

Потом и вовсе не стало слышно деревень. С земли доносилось только однообразное, похожее на шум морского прибоя, шуршание леса. Вероятно, ветер внизу был сильный. Временами казалось, будто деревья шумят совсем рядом. Высокие нотки свиста в ветвях прорывались сквозь монотонный шорох.

Широкая спина Канищева в белой фуфайке загрозила от меня доску со слабо мерцающими фосфором приборами. Его жёсткий ноготь все постукивал по стеклу, будя стрелки анероидов.

Но вот тьма стала уходить на восток. Делалось холодно-серо. Сквозь серую мглу внизу проступали леса. Черно-зелёная гуща деревьев, подёрнутая пятнами

осенней ржавчины, иногда расступалась, чтобы дать место узенькой светлой прогалине.

Столбик ртути в термометре упал на четыре деления. Перо барографа заметно пошло на снижение. Я исподтишка поглядывал на Канищева: почему он так спокоен?.. Неужели его не тревожит стремление аэростата идти все ниже и ниже?.. А как же с дальностью полёта? Как с Федосеенко и Ланкманом?

4. Враги наши кумулусы

Прошло не больше часа полёта в серой предрасветной мути, как из-за горы тёмных облаков на востоке проглянули ярко-красные лучи. Увы, ненадолго. Сразу же их снова заволокли тяжёлые серые тучи.

В 4 часа 16 минут пополудни день уже полновластно вступил в свои права. После сравнительно тёплой ночи мы сразу почувствовали его неприветливые объятия. Лёгкий холодок стал забираться под воротник тужурки и неприятно щекотать позвонки.

Шум ветра в вершинах леса доносился все более и более явственно. По тому, как под ударами ветра гнулись стволы деревьев, можно было судить о его скорости – по крайней мере метров в двенадцать даже у земли. Здесь, наверху, было больше.

Мало-помалу пейзаж стал несколько разнообразиться деревушками, ютившимися на юру, около узких извилистых речек.

Надо было воспользоваться тем, что внизу показались несколько белых и красных рубах.

– Ка-а-ка-я губе-ерния? – крикнул я в рупор.

– Куды летишь?

Повторяю вопрос:

– Губерния какая?

А они своё:

– Садись к нам! – И зазывно машут шапками.

– Какой уезд?

– Никольской!.. Северо-Двинской!..

Никольский уезд, Северо-Двинской губернии?

Значит, курс нанесён за ночь правильно.

Следующий час прошёл в борьбе с упорным стремлением аэростата идти к земле. Дождь нас добивал. Несмотря на взятый при старте большой запас балласта, его оставалось мало. За борт полетели бутылки из-под нарзана. Туда же последовала срезанная взмахом финского ножа низенькая скамейка – наше единственное уютное сиденье в корзине. Посоветовавшись, решаем пожертвовать даже парашютами. Но только выброшенные из драгоценного последнего мешка балласта несколько совков песку преодолевают наконец упрямую тягу аэростата к земле.

Под нами один за другим пошли извилистые рукава реки Юга. На земле никогда нельзя себе представить, даже при наличии карты, истинной линии течения такой реки. Она извивается до неправдоподобия прихотливыми изгибами, десятки раз обходя одно и то же место. Подлинный её рисунок гораздо больше походит на аграмант на рукаве старинного дамского пальто, чем на течение солидной реки.

Скорость полёта непрестанно увеличивалась. Под

нами настолько быстро пробежали селения, что мы не успевали спросить жителей о месте нахождения. С большим трудом выяснили, что в пятидесяти километрах на nord лежит Великий Устюг.

В подтверждение правильности этого сообщения перед глазами заблестела зеркальной лентой Сухо-на.

В просеке мелькнула долгожданная линия железной дороги. Это – ветка на Котлас. Теперь мы были уверены в правильности ориентировки. Но возникала другая проблема: дальше в направлении полёта, на протяжении по крайней мере двухсот километров, на карте не обозначено ни единой деревушки – сплошняком идёт зеленое пятно леса. А балласта уже почти нет. Протянем ли мы эти двести километров до Вычегды?

– Ну, маэстро, ваше мнение? – вглядываясь в высотомер, спросил Канищев. – Протянем?

Вопрос представляется мне праздным. Поэтому мой ответ, звучит, вероятно, не очень любезно:

– Допустим, что нам их не протянуть, – что из этого?

– Вас устраивает посадка на лес?

Пришлось признаться:

– Нет, не устраивает... А в этих местах особенно. Но...

Канищев делает вид, будто не догадывается о том,

что я имею в виду. Я не сразу понял: ему хочется услышать, что я думаю насчёт Федосеенко и Ланкмана. А когда понял, то рассмеялся: разве не разумеется само собою, что мы должны тянуть до последней возможности, чего бы это ни стоило. Федосеенко и Лэнкман серьёзные соперники!

Канищев, постукивая пухлым пальцем по стёклам, один за другим оглядел все приборы. Потом своими прищуренными глазами, кажущимися вблизи подслеповатыми, а на самом деле зоркими, как хороший бинокль, он оглядел горизонт, небо. Раз и другой посмотрел на северо-восток. Оттуда на нас наступал новый вал – тёмный, как морской накат в приливе.

– Видите кумулусы², в которые мы сейчас влезаем? Я не был слепым.

– Они нас погубят... – с хрипотцой проворчал Канищев. – Если Федосеенко таких не встретил, все шансы на его стороне.

Я как на личных врагов смотрел на собиравшиеся вокруг нас серые облака и раздумывал над создавшимся положением.

Пока мы советовались, снова мелькнувшая было дуга железной дороги осталась далеко позади. Оба мы облегчённо вздохнули: умышленное затягивание привело к нужному результату – садиться уже позд-

² Кумулусы – дождевые облака.

но. Даже если бы мы смалодушничали и решили закончить полет, сделать это нельзя – нужно выжать из аэростата все его возможности.

Внизу глазу было не на чём остановиться. Подёрнутые желтизной волны лесов тянулись, насколько хватал бинокль. Кое-где среди зарослей мелькали ржавые пятна, утыканные почерневшими стволами сгнивших осин.

Вот показалась ещё какая-то река. На большом расстоянии друг от друга по берегу разбросаны чёрные избы. Весёлым пятном выделился белый квадратик монастырской ограды, тесно охватившей церквушку и несколько крошечных келий с зелёными крышами.

Впереди снова не было видно ничего, кроме леса, – бесконечное зелено-жёлтое море лесов.

Прошёл томительный час. Канищев не отрывался от приборов. Из-за его спины я видел, как стрелка альтиметра, несмотря на ободряющее постукивание первого пилота, неуклонно клонится книзу. За какой-нибудь час она сошла с 950 метров на 150 и продолжает падать.

Только бы не дождь! Если его не будет, мы, может быть, ещё и дотянем до Усть-Сысольска. Ближе садиться негде.

Вопреки всем доводам разума, в глубине души у

меня ещё копошилась надежда на то, что нам удастся пролететь дальше, чем Федосеенко. Лишь бы не дожди!

Да, лишь бы не дождь...

А дождь уже громко стучал по оболочке. Нам предстояла неизбежная посадка. Предательские кумулы, образовавшиеся под нами два часа тому назад, слезоточили все сильнее. Из-за этих слез наш гайдроп уже начал чертить по верхушкам деревьев.

Мой бинокль обшаривает горизонт. Нигде ни единой прогалины. Неужели придётся садиться на лес?

Быстро пристропливаю по углам багаж. Срезаю с рейки часы и... не успев засунуть их в карман, кубарем лечу в угол корзины. Гайдроп зацепился за крепкий ствол высоченной сосны. Громкий треск, хруст, и полутораобхватная вековая сосна, дёрнувшись нам вслед, взлетела над вершинами своих могучих соседей. Один за другим трещали под нами стволы. Пляска совершенно обезумевшей корзины свидетельствовала об усердной лесозаготовительной работе гайдропа.

– До смерти хочется пить, – хрипло пожаловался Канищев.

Я принялся за выполнение трудной задачи: достать из сумки бутылку нарзана и откупорить её. В бешеных размахах корзины сквозило явное стремление

вытряхнуть за борт все содержимое вместе с нами, и всё-таки наконец бутылка была у меня в руках. Быть может, это было и очень глупо, но мне почему-то казалось, что если Канищев получит свой нарзан, то мы ещё продержимся в воздухе, обойдём нашего сильного конкурента. Теперь можно посмеяться над тем, что я тогда сражался с нарзанной бутылкой, как с препятствием, стоявшим на нашем пути к победе. Но, право, тогда эта борьба, наверно, вовсе не показалась бы смешной самому смешливому человеку. Я мог действовать только одной рукой – вторая была нужна, чтобы держаться за борт и не позволить взбесившемуся аэростату выбросить меня на вершины сосен. Тот, кто видел в фильмах, как ковбои укрощают мустангов, только что взятых из табуна, может себе приблизительно представить мои ощущения. Разница была лишь в том, что выброшенному из седла наезднику некуда лететь дальше двух метров, отделяющих его от земли, а под нами зияло ещё несколько десятков метров, отделявших нас от густых и чертовски неприветливых вершин леса.

Я был уверен, что победил стихию, когда наконец штопор с выдернутой пробкой оказался у меня в руке, а из зажатой между колен бутылки фонтаном бил нарзан.

Канищев стал жадно пить из горлышка, рискуя вы-

бить себе зубы. Рывок корзины, ещё более сильный, чем все предыдущие, заставил его выпустить бутылку. Я успел только увидеть, что он широко простёр руки, и в следующий миг его большое тело закрыло от меня все. Меня вдавило в угол корзины так, словно на меня наехал шоссейный каток. Эта страшная тяжесть все давила и давила, с сопением, с кряхтением. При этом нас катало по дну корзины, швыряло от одного борта к другому. Канищев бранился и делал судорожные усилия подняться, ещё крепче наваливаясь на меня своими полутораста килограммами. Только воспользовавшись несколькими секундами затишья, нам удалось разобраться в путанице собственных рук и ног и быстро занять свои места у бортов.

Взгляд вниз сказал все: нескольких минут катания по корзине оказалось достаточно, чтобы положение стало непоправимым. Федосеенко, Ланкман?!. Нет, сейчас приходилось уже считаться только с тем, что аэростат со скоростью экспреса нёсся над самым лесом. Всего несколько метров отделяли корзину от вершин сосен. Сквозь грохот бури я услышал команду:

– На разрывное!

Усваиваю её машинально, без раздумья. Руки работают рефлекторно. Всею тяжестью висну на красной вожже разрывного полотнища. Щёлкнул карабин.

Напрягаю все силы, чтобы отодрать разрывное. Однако и постарались же его приклеить!

Из-за мелькающих за бортом вершин видна жёлтая прогалина, поросшая относительно редкими деревьями; по-видимому, на неё и рассчитывает опуститься Канищев.

У меня уже не осталось в запасе ни единой дины, взмокло все тело, а разрыва все не было. Рядом со мной на вожже повис Канищев. Однако даже этого груза оказалось недостаточно, Казалось, выхода нет. Мы бросили разрывное и оба вцепились в клапанный строп. Уже не хлопками, а непрерывным открытием клапана старались избавиться от газа. Но это не было делом одной минуты. Наша корзина, как погремушка, хлопала по вершинам деревьев. Аэростат, гонимый порывами бури, тянул все дальше от облюбованной прогалины. Наконец у него не осталось сил тащить за собой обмотавшийся вокруг сосен гайдроп. Аэростат озлобленно забился, не оставляя ни на секунду в покое корзину и вытряхивая из неё остатки содержимого. Ценою ободранных рук мне удалось зачалить клапанный строп за крепкий сук соседней сосны, и мы снова сделали попытку вскрыть разрывное. Все было напрасно. Тогда мы решили переложить эту работу на аэростат и в удобный момент накоротко закрепили за дерево и разрывную. Огромным жёлтым пузырьём

оболочка билась в вершинах. Как пушка, громыхала толстая прорезиненная ткань.

Посадка совершена. Я обтёр кровь с рук и обессиленный опустился на борт корзины, служивший нам теперь полом, а её пол стоял отвесно за спиной. Я с удивлением увидел, что все приборы висели на рейках. Только трещины пауками легли на стекла.

– Айда покурить! – благодушно заявил Канищев. – Помогите немного выбрать гайдроп, чтобы приспособить его вместо лестницы. Мы тут по крайней мере на высоте шестого этажа... Да, застряли на редкость неудачно.

Через пять минут грузная фигура Канищева скользнула по гайдропу вниз и, коснувшись почвы, сразу ушла в неё выше колен. Избранная нами для посадки прогалина оказалась болотом.

5. Съесть или выпустить?

Вволю накутившись, Канищев устроился на пенёчке и разгладил на коленях намокшую карту.

— Итак, маэстро, идём на северо-запад, пока не выберемся к реке, — проговорил он так весело, будто речь шла о воскресной прогулке. — Совершенно ясно: держась такого направления, мы выйдем к воде.

Я не разделял его оптимизма.

— До последней минуты в бинокль не было видно реки. Нигде, до самого горизонта.

— Если, конечно, не считать того, что сейчас мы стоим по колено в воде, — рассмеялся Канищев. — А дело с провиантом — табак? — продолжал он с необъяснимой весёлостью. — Что вы, как завхоз, имеете предъявить?

— Четыре мокрых бутерброда, пачка размокшего печенья, плитка шоколада и полбутылки портвейна, — уныло отвечал я.

— Не густо, маэстро, но надо считать, что в самом худшем случае нам придётся идти... не больше восьми суток.

— Да, на восемь дней, судя по карте, можно рассчитывать.

— По сколько же брэнной пищи выходит на нос в

сутки?

– Четвертинка бутерброда, одна бисквитинка, полдольки шоколада и по глотку портвейна. Да вот с голубями надо решить ещё, что делать. Приходит, на мой взгляд, здравая идея: изжарить их.

– Нет, – подумав, решает Канищев, – пока понесём божьих птах. А там будет видно. Итак, маэстро, компас в руки – и айда. Решено: запад-северо-запад. Пошли?

– Пошли!

Но на деле этого решения оказалось недостаточно. Уже через десять шагов дали себя знать упакованные в балластных мешках приборы. Цепляясь за сушня, слезая с плеч, они не давали идти Канищеву, на долю которого выпала эта нагрузка – более лёгкая, но зато и менее удобная. Через нас эти мешки превратились в его заклятых врагов. Бороться с ними становилось тем труднее, что руки Канищева были заняты корзинкой с голубями.

Так мы шли часа три, кружа между тесно сгрудившимися вокруг нас стволами. Основное направление поминутно терялось. Нужно было обходить глубокие болота или нагромождения бурелома.

Эти три часа нас вполне убедили в том, что путь несравненно более труден, чем мы предполагали. Повидимому, прежде всего нужно было избавиться от

громоздкой корзинки с почтовыми голубями.

– Ну-с, маэстро, давайте решать: жарить или выпустить? – спросил Канищев, залезая по локоть в дверцу корзинки.

Я проголосовал за то, чтобы отправить голубей с записками.

– Возражений нет, – согласился Канищев. – Готовьте записки.

На старом скользком стволе поваленной сосны открыли походную канцелярию.

«ГОЛУБЕГРАММА

Срочная. Доставить немедленно. К первому телеграфному пункту. Всякий нашедший должен вручить местным властям для отправки.

Москва, Осоавиахим.

Сели в болоте в треугольнике Сольвычегодск – Яренск – Усть-Сысольск. Думаем, что находимся в районе реки Лупы или Лалы. Будем идти по компасу на северо-запад или запад-северо-запад. Полдневный паёк одного разделили на восемь дней для двоих. Идти очень трудно. Выпускаем обоих голубей. Канищев, Шпанов»,

Под резиновые браслетки на лапках голубей укрепили патрончики с голубеграммами.

Обе птицы дружно проделали первый широкий круг и взяли направление прямо на север. Судя по всему, они пошли на Яренск.

Уверенные в том, что наши птицы достигнут людей и навстречу нам выйдет, помощь, мы пустились в путь.

Но природа была против нас. В первый же день непрерывный дождь успел промочить нас до нитки. Кончилось болото, но зато начался густой бор с непроходимым буреломом. Подчас брала оторопь: мы упирались в гору наваленных друг на друга стволов. Во всех направлениях – горизонтально, наклонно и вертикально – завалом в два человеческих роста лежали двухобхватные великаны, наполовину истлевшие на своём вековом кладбище. Уютный зелёный мох прикрывал эти нагромождения великанов покойников. Нога проваливалась в труху выше колена. Деревья до того прогнили, что можно было легко растереть их в ладонях. Но их было столько, что на это понадобилась бы вся жизнь.

Мне стало от души жаль грузного Канищева, которому было вдвое труднее моего выбираться из таких западней, но я был бессилён помочь ему.

Перед каждым препятствием он останавливался, и лицо его отражало душевную борьбу. Я видел, что охотнее всего он уселся бы на пенёк и принялся за от-

нятую у меня трубку. Однако, посидев в раздумье, он все же шёл на штурм завала. По большей части дело кончалось тем, что он срывался сверху какой-нибудь ослизлой кучи и, посидев и посопев, принимался искать лазейку, в которую мог бы проползти на карачках. Иногда это ему удавалось. Тогда он с кряхтением, обдираясь о сучья, вползал в чёрный туннель, пахнувший мохом и прелой гнилушкой. Проходило пять – десять минут, прежде чем я встречал его, багрового от усилий, на другой стороне завала. Дыхание вырывалось из груди толстяка со свистом, какой издаёт предохранительный клапан парового котла.

После каждого завала ему приходилось отдыхать. Так с передышками мы шли до сумерек, а к самой темноте попали в западню, из которой от усталости уже не могли выбраться. Со всех сторон из неуютной мокрой темноты на нас глядели беспорядочно навороченные груды стволов; за этим завалом высокие вершины сосен терялись в тёмном небе. Канищев вымотался. Почерневшими от жажды губами он прохрипел: – Маэстро, я пас. Давайте ночевать.

Выбрали местечко под стволом высокой сосны. Нарубленный лапник должен был спасти нас от сна в воде. Попытка развести костёр не увенчалась успехом. Бились с хворостом, с гнилыми щепками, с берестой – все напрасно. Намокшее дерево с шипением гасло

под струями непрестанно плачущего неба.

Усталость взяла своё, и мы оба заснули. Правда, сон не был особенно крепким. Намокшее платье остыло. Холод быстро завладел нашими усталыми телами. Было трудно отогреться под насквозь промокшей шинелью Канищева, а моё бобриковое полупальто служило нам подстилкой.

6. Тайга и сонеты

Чуть забрезжил рассвет, мы были на ногах. Не скажу, чтобы мы выспались, но немислимо было дольше лежать от трясущего нас озноба. Натянутый на голову резиновый мешок из-под карт перестал создавать иллюзию тепла. Дыхание лишь собиралось на поверхности резины, и холодные капли падали нам на лица. Решили двигаться в путь. Но сначала поели: по два квадратика шоколада и по глотку портвейна. Канищев взмолился, и я отдал ему половину оставшейся у нас бутылки нарзана.

На этот раз несколько удобнее связали имущество, получилось нечто вроде вьюка.

Сегодня бурелом не казался таким отчаянно непроходимым. Канищев довольно бойко нагибался, чтобы пролезть под стволами, повисшими на сучьях соседних деревьев. Он даже без особенной брани вытягивал ноги из наполненных ржавой водой ям.

Но эта резвость была недолгой. Часа через два мы увидели, что, в сущности говоря, идти по-прежнему непереносимо тяжело.

– Скажите на милость, маэстро, какой леший играл здесь в свайку и нагородил эту чёртову прорву стволов? – сетовал Канищев. – Ведь старайся, как ло-

шадь, нарочно такого не наворишь.

Я не успел подать реплику: ноги скользнули вперёд, обгоняя мой ход. Я быстро пополз на спине с косога, прямо в объятия заросшего камышами болота.

– Ого-го-го! – донеслось сверху. – Куда вас унесло?!
Ау!

– Полегче там! – отвечаю. – Я уже съехал этажом ниже.

Но вот мои ноги упёрлись в топкий берег. Оказывается, это вовсе не было болото. Жёлтые листья, пятнистым ковром укрывшие поверхность воды, заметно для глаза двигались. Течение! Река!

– Алло, сюда! – радостно крикнул я наверх.

– Ну что же, одно из двух: это или очень плохо, или очень хорошо, – флегматично резюмировал Канищев. – Если нам нужно через неё переправляться – плохо; если можно идти берегом – хорошо. А каково дно? Перейти можно? – осведомился он.

– Судя по всему – тина.

– А направление течения?

Я сверился с компасом.

– Почти строго на норд.

– Не попробовать ли идти по течению? – после некоторого раздумья сказал Канищев. – Вероятно, это один из притоков Лупьи или сама Лупья в натуральную величину... Я почти в восторге!.. Вы какого мне-

ния, маэстро?

Я и на этот раз не разделил его восторга.

– Нам ничего другого и не остаётся, как идти по течению, раз не можем переправиться. И есть ли смысл переправляться, чтобы плутать с компасом по этому проклятому лесу?

– Давайте попробуем. Но только, чур, я уж сначала попью. Напьюсь вволю и наберу с собою воды в бутылку.

Идти по берегу оказалось совершенно невозможно, настолько он зарос и так близко лес подходил к воде. Волей-неволей пришлось уклониться от реки. Снова все в тот же лес. Несколько часов продирались сквозь бурелом. Местами можно было прийти в отчаяние от путаницы полуобгорелых, полусгнивших и цепких, как чёртово дерево, коряг. И все же в конце концов мы снова выбрались к берегу. Судя по размерам и по направлению течения, это была уже другая река – шире и медленней прежней. Вероятно, та речка, от которой мы недавно ушли, впадает в эту. Решили идти по течению. Размеры этой новой реки внушали уважение. Если бы мы были в ином настроении, то, вероятно, смогли бы оценить и красоту её диких берегов.

Из-за серой сетки мелкого дождя на нас неприглядно глядели высокие обрывы. Их песчаные берега потемнели от воды и были завалены все тем

же нескончаемым нагромождением поваленных деревьев. В иных местах было темно, как ночью. Но выбора не оставалось. Такой уж оказывалась наша злая участь – подобно медведям продираться напрямик, только вперед.

Ветви деревьев, тесно сгрудившихся на нашем пути, цеплялись за нас, не желая выпускать из своих мокрых объятий. Их гостеприимство не останавливалось перед тем, чтобы в кровь раздирать нам лица, оставлять себе на память клочья нашего платья. Но мы шли, пренебрегая этим жестоким приёмом. Иного пути нам не было. Мы шли из последних сил, пока Канищев не опускался в изнеможении на какой-нибудь особенно трудный для преодоления ствол. Тогда поневоле приходилось делать роздых.

Скоро путь стал несколько разнообразней. Круча берега время от времени сменялась небольшими отмелями с жёсткой жёлтой травой – там, где река делала повороты. Отмели были пологи и подходили к самой воде. Мы без труда черпали её, и одно это было уже большой отрадой посла двух суток выбора между жаждой и питьём из болот.

К вечеру дождь почти перестал. Надо было подумать о ночлеге. И на этот раз счастье, кажется, нам улыбнулось: на одной из отмелей мы наткнулись на серый, по-видимому очень давнишний, стожок сена.

Сено было трухлявое, местами совсем чёрное, затх-
лое. Оно давно сопрело. Какими судьбами его сюда
занесло и как сохранился этот стожок? Вероятно, дро-
вoseки или сплавщики заготовили когда-то, да так и
бросили.

Я принялся выкапывать в стоге нору для спанья,
пока Канищев разводил костёр. Весело взвились к
тёмному небу языки пламени, суля тепло. Как это здо-
рово – согреться и обсушиться перед сном! Не без
труда подвешенная над пнём кружка обещала нам
нечто вроде горячего чая, правда, без единой поро-
шинки китайской травы. Но разве при достаточной си-
ле воображения мутная вода не может сойти за са-
мый высокосортный чай?

Столбом валил пар от подставленных к огню ног.
Платье дымилось, будто горело. А впрочем, быть мо-
жет, оно и тлело местами, – нам было не до таких пу-
стяков. Мы подбирались к огню так близко, как только
терпело лицо. Насладиться теплом! Вот единствен-
ное, чего нам хотелось.

Сапоги почти просохли. Но шинель и пальто пропи-
тались водою насквозь – они были безнадёжны.

У костра было так уютно, что не хотелось лезть в
тесную «спальню».

Лукаво подмигнув, Канищев принялся рыться в сво-
ём рюкзаке. Я решил, что меня ждёт приятный сюр-

приз. Интересно, что же он приберёт для такого случая, как вечер у яркого костра? Печенье? Кусок колбасы?.. А может быть, банку хороших консервов?

Ждать пришлось недолго – Канищев вынул со дна рюкзака плоский свёрток в пергаменте. Я понял, что буду пить «чай» аж... с шоколадом!

Хитрый толстяк, подогревая мой аппетит (в чём, право, не было надобности), с нарочитой медлительностью разворачивал пакетик. Вода в кружке уже бурлила. Я бережно снял её с огня. Кипяток с шоколадом!.. С шоколадом!

– Ваша очередь, – сказал я, глотая слюну, – по старшинству.

– Да, я с удовольствием... – ответил он, улыбаясь, и наконец раскрыл бумагу

В руке у него был маленький томик в изящном переплёте красного сафьяна. Обрез бронзовел благородной патиной позолоты.

Канищев надел очки и наугад раскрыл томик:

...it is an ever fixed mark,
That looks on tempets, and is never shaken,
It is the star to every wandering bark
Whose worth's unknowh, althought his height be
taken...

Всей жизни цель – любовь повсюду с нами,
Её не сломят бури никогда,
Она во тьме над утлыми судами
Горит как путеводная звезда...

Голос Каяищева звучал все чище. В нем не слышалось теперь ни хрипоты, ни обычной одышки. Он читал наизусть, закрыв томик:

Одна любовь крушенья избегает,
Не изменяя людям до конца...

Щеки Канищева вздрагивали, он держал очки в руке наотмашь, и стекла их при каждом движении вспыхивали, как цветы из багряной фольги. Это было неправдоподобно: тайга, стог сгнившего сена, просыхающие сапоги над костром и... сонеты.

Коль мой пример того не подтверждает,
То на земле никто любви не знает.

Я забыл о вожденном шоколаде, и кружка стыла на земле. Дождевые капли взрыбили в ней воду. Я взял кружку и с церемонным поклоном подал чтецу. Он принял её, как, вероятно, принимали когда-то кубок менестрели, и, выпитив толстые губы, стал отхлёбывать мутную жижу. Она была ещё горячая.

Канищев сделал несколько глотков и так же церемонно вернул мне кружку. Я снова поднял её, и, пока, обжигаясь, тянул кипяток, Канищев прочёл ещё два или три сонета.

Однако дождь скоро заставил все же Канищева спрятать сафьяновый томик и загнал нас в сенную нору.

Ну что же, в конце концов тут было не так уж плохо. Особенно после ночлегов под открытым плачущим небом. Жаль только, что наш дом так эфирен. Стоило Канищеву повернуться с боку на бок, и из стенки спальни вывалился огромный кусок. А к утру окон стало так много, что спальня вентилировалась лучше, чем надо. И все же убежище оказалось достаточно тёплым, чтобы превратить мокрое платье в хороший согревающий компресс. Холод мы почувствовали, только вылезши наружу, чтобы приняться за остатки шоколада и кипяток.

7. Капитан – самозванец и гурман

День начался большим развлечением. Возле крутого берега мы увидели застрявший плот и решили воспользоваться им для плавания вниз по реке.

Канищев отрекомендовался специалистом плотового дела. Приходилось верить на слово. Мы сбросили с плота бревна верхнего ряда, казавшиеся лишними, навалили кучу ветвей, чтобы багаж не проваливался в воду, и, вырубив несколько длинных шестов, отправились в путь. Отплытие ознаменовалось купанием: мы по очереди сорвались в воду и снова промокли до костей.

Но непривычная тяжёлая работа с длинной слегой хорошо разогревала. Я едва успевал перебегать с одного борта на другой по команде «капитана», стоявшего на корме и направлявшего ход плота своей жердиной.

Познания Канищева в плотовом деле обнаружили очень скоро: уже через четверть часа мы сидели на коряге, и как-то так странно вышло, что мы засели не носом и не кормой, которые легко было бы снять простым балансированием, а самой серединой.

Плот взгромоздился на огромную позеленевшую корягу, загадочно улыбавшуюся нам замшелыми морщинами сквозь рябь воды. Пряди её зеленой бороды развевались по течению.

– Экая досада! – смущённо бормотал Канищев. – Ведь место-то какое глубокое... Все так хорошо шло... Ну да ладно, давайте с левого борта от себя и вперёд... Так, так!.. Ещё! – весело покрикивал он, входя в роль.

Но по всем его ухваткам я уже разгадал, что этот плотовщик-самозванец имеет самое отдалённое представление о методах управления нашим неуклюжим судном.

Ноги скользили по мокрым брёвнам. Слега глубоко уходила в песчаное дно. Наклоняясь к самой воде, я упирался в конец шеста наболевшим плечом. Неверный шаг, и я полетел вверх тормашками, цепляясь за настил плота, чтобы не выкупаться ещё раз на середине реки.

«Капитан» менял распоряжения каждые пять минут. То «слева и вперёд», то «справа и назад», и так до тех пор, пока мы окончательно не выбились из сил.

Итак, за несколько часов мы продвинулись всего на полверсты. Теперь мы решили отдохнуть, предоставив течению поработать за нас.

Однако миновал срок отдыха, а плот оставался там,

где стоял. Мы снова долго возились с длинными слегами. Коряга цепко держала плот.

Ничего не оставалось, как только раздеться и вброд переправиться на берег.

Если бы кто-нибудь мог себе представить, как отвратительно вынужденное купание в этих широтах в начале октября!

Через час мы снова, уже наполовину измотанные борьбой с неподатливой корягой, брели лесом по высокому берегу Лупьи. Шли как можно скорей, чтобы согреться. Но в этот день было как-то особенно тяжело идти. Или, может быть, это так казалось после радостной перспективы спокойного плавания, которую мы себе рисовали, садясь на плот?

Наша обувь, кажется, была согласна с нами: путь был и ей не по силам. Сапог Канищева жадно разинул пасть. Мои ботинки, давно уже превратившиеся в белые скользкие опорки, тоже дышали на ладан, и я с трепетом следил за тем, как предательски жалобно, на манер больной лягушки, на каждом шагу хлюпала подмётка. Что я буду делать, когда она отлетит? Босиком идти здесь невозможно.

Если бы ещё хоть на часок перестал дождь!

Нам было уже всё равно – сухи мы сами или мокры. Хотелось только подсушить багаж – хотя бы для того, чтобы он стал легче. В вате моего полупальто

было не меньше полупуда воды. Сняв его на плоту, я уже больше не мог просунуть руки в рукава. Они стали тесны, словно туда напихали набухшей губки. После длительного совещания мы пришли к необходимости бросить его. Прощай, наша ночная подстилка!

К концу дня я настоял на том, чтобы и Канищев облегчил свою ношу. Нужно было идти скорее, а нас очень задерживали приборы. После настоящей ссоры мы бросили психрометр и альтиметр. Сохранили только барограф – единственный нелицеприятный свидетель того, сколько времени мы летели, на каких высотах, с какой скоростью, как управляли аэростатом.

Багаж Канищева стал более компактным. Я взял у него все, кроме шинели и барографа. На спине у толстяка остался тук из пудовой шинели, пристроенный ремешками от брошенных приборов.

Думаю, что вид наш был очень жалок. Но настроение пока оставалось сносным.

Когда я застегнул на груди и спине Канищева сложную систему ремешков, удерживающих поклажу, он удовлетворённо крикнул.

– Вот теперь, маэстро, совсем другой табак! Хотя мою младую грудь в железо заковали, но дышится свободно и легко. Пошли?

И на ходу, помахивая сучковатой палкой, траги-

чески продекламировал, как пускающийся в путь Несчастливцев:

Рука ль моя тебе над гробом строфы сложит
Иль будешь ты в живых, как я сгнию в земле...

Мы шли недолго. Путь нам пересёк глубокий овраг. Сползши туда на карачках, мы обнаружили на дне его неширокий, но быстрый и глубокий приток Лупьи. Темно-коричневая вода была холодна, как лёд. Судя по виду, я решил, что она должна быть очень горькой, и удивился, обнаружив, что она приятна для питья. Однако температура делала её совершенно неприемлемой для переправы в брод. К тому же оказалось, что перейти ручей невозможно и потому, что глубина его не меньше трех аршин.

Два часа убили на устройство двухсаженного моста из нескольких тут же поваленных сосенок.

Переправившись, шли уже в сумерках. От реки поднимался пронизывающий туман. Стогов, которые мы в тайне надеялись опять найти на отмелях, больше не было видно.

В потёмках я провалился в кучу хвороста и, когда выбирался, увидел, что стою в десяти шагах от тёмного силуэта крошечной, почти игрушечной избушки. Ей не хватало только курьих ножек – точь-в-точь жи-

лице бабы-яги.

Среди толстых тридцатиметровых сосен и ёлок спрятался дочерна прокопчённый сруб охотничьего зимовья. Вместо крыши на жердины был набросан лапник, пересохший до того, что при малейшем прикосновении не только к нему самому, но даже к стенам избышки на нас сыпался дождь иголок. Щит, заменявший дверь, развалился и выпал из колоды.

Осветив нутро избы лучом ручного фонаря, я вполз в полуторааршинное отверстие. Мне представилось нечто до такой степени чёрное, что далеко не сразу глаз мог различить контуры предметов и даже самой постройки. Потолок, стены, очаг – решительно все было покрыто плотным слоем маслянистой копоти. Здесь было черно до фантастичности – наверное, как в камере фотоаппарата. Посредине зимовья стоял небольшой, грубо сложенный очаг. Дым мог выходить только в дверь. Земляной пол до самого порога был залит гнилою водой, чёрной, как дёготь.

Долго я присматривался, пока увидел, что тут не все черно: были и светлые пятна – грибы в углах избы и на переводинах потолка.

Много времени у нас ушло на то, чтобы устроить постель из валежника, прикрытого еловым лапником. Но зато ложе получилось поистине королевское. Кроме того, решили сегодня как следует просушиться и

потому запасли топлива для очага.

Пламя бойко побежало по шипящим веточкам ельника, белый дым весёлыми клубами взлетел к потолку и, скопившись там кудрявой сизой подушкой, нехотя потянулся к двери. Сделалось теплей. Мы принялись за ужин: по одному кусочку раскрошившегося печенья на человека.

— Смотрите-ка, маэстро, — мрачно проговорил Канищев, бережно держа в пальцах, уже совершенно чёрных от прикосновения к окружающим предметам, последний кусочек печенья величиною в почтовую марку, — как странно: даже в бликах огня все чёрное не делается светлей... Хоть бы покраснело, что ли!.. Право, как душа грешника или... могила! — Он повёл плечами и насупился: — «Тебя, о смерть, тебя зову я, утомлённый...»

— Нет, — прервал я его решительно, — это мне не нравится.

— Не нравится? — Канищев посмотрел на меня удивлённо, словно я сказал что-то очень несуразное. Потом поднял взгляд к чёрному, как адская бездна, потолку.

Ничто не может помешать слиянью
Двух сродных душ. Любовь не есть любовь,
Коль поддаётся чуждому влиянью,
Коль от разлуки остывает кровь...

Запомняв продолжение, он было потянулся к своему мешку, где был спрятан сафьяновый томик Шекспира. Но, поглядев на свои чёрные руки, передумал и, полужакрыв глаза, сосредоточившись, продолжал на память:

Как вянуть будешь ты день ото дня, так будешь
День ото дня цвести ты в отпрыске своём...
...let those whom Nature hath hot made for store...
Кто на земле рождён не для продленья рода,
Уродлив, груб, суров, – тот гибни без следа!

– Это обо мне – смоковнице бесплодной... – Он посмотрел на меня и рассмеялся.

В пляшущих бликах огня он смахивал на провинциального трагика, небрежно загримированного под Отелло.

Не знаю, право, был наш вид смешон или трагичен, – нам было весело. Мы предвкушали ночь, которую сможем проспать под крышей, в тепле и в полной безопасности. Даже сам Михаил Иванович Топтыгин не был нам страшен: шестивершковые стены хаты служили надёжной защитой, а выход загораживался прочно заклиненным пнём.

Но с уютом приходит и особенно острое ощущение недавно перенесённых трудностей. Тело точно оттаи-

вало и начинало нестерпимо болеть. Острее чувствовалась боль в кровотокающих руках.

– Ну-с, маэстро, вы какого мнения? – спросил Канищев, поудобнее подбирая под себя разутые ноги.

– О чем это, позвольте узнать?

– Разве это зимовье не служит указанием на то, что здесь бывал человек? А раз так – наши шансы повышаются. Позавчера – стог, сегодня – зимовье, а завтра, может статься, – деревня. Как полагаете?

– Судя по всему, в зимовье уже невесть сколько времени никто не бывал, – ответил я. – А от того, что во время уно здесь жили охотники и, может быть, придут сюда ещё когда-нибудь, мне не слаще.

– Говоря откровенно, по-моему, не больше двадцати пяти шансов из ста за то, что мы встретим в этом краю людей... Попробуйте привыкнуть к мысли, что нам придётся устраиваться на житьё в таком вот зимовье и превращаться в лесных людей. Вон ведь сколько мы видели здесь дичи! Глухари сами лезут в руки. А раз так, значит мы рано или поздно научимся их ловить и получим в наше распоряжение отличное жаркое.

– Хотелось бы только получить это жаркое раньше, чем мы сами превратимся в жаркое для кого-нибудь другого, – вероятно, не очень весело ответил я. – А впрочем, утро вечера мудрёнее, давайте спать. Ух,

черт её возьми, какая холодная эта шинель!

– Да не будет мне бренное ложе сие смертным одром...

Канищев выколотил трубку и теснее прижался ко мне. Не знаю, долго ли мы дремали. Вероятно, не больше получаса. Нас разбудил удушливый дым, за-
полнивший избушку. Сырые дрова стали так чадить, что дым клубился над нашими головами, грозя задушить. Кончилось блаженство у очага. Сухих дров не было, значит не было и огня. Пришлось выбросить из очага последние головешки. На память о тепле нам остался только отвратительный угар. Чего доброго, утром от него и вовсе не проснёшься.

Утро оказалось для нас ещё более ранним, чем все предыдущие. Остаться в промозглom помещении не было никакой возможности. Холод пронизывал до костей.

Когда мы выползли наружу, стало ясно, почему ночью нас корчило от холода так, что теперь зуб не попадал на зуб. Перед нами высились посеребрённые морозом ели. Иней блестел на всём вокруг. Под нашими подошвами трава ломалась и хрустела, с веток деревьев спадали льдинки.

– А знаете, – с неожиданной бодростью воскликнул Канищев, – надо воспользоваться морозом: вероятно, рябина сегодня более приемлема.

И он принялся за рябину. Для меня этот завтрак не был новостью – я уже вторые сутки жевал горько-кислую ягоду.

Тщетно пытаюсь преодолеть судорогу, сводившую лицо в такую гримасу, что и у меня-то во рту делалось кисло, Канищев проговорил:

– Интересно бы заглянуть в меню завтрака, который поедают сегодня наши уважаемые конкуренты Федосеенко и Ланкман.

При этих словах он аппетитно причмокнул: он был гурман.

Я знал, что, если сейчас же не отвлеку его мысли от еды, он, как чеховская Сирена, начнёт фантазировать по поводу того, что заказал бы сейчас на завтрак, на обед, на ужин, и меня стошнит, как в тайне от него уже стошнило однажды, когда я переел рябины.

8. Трубка мира

Два дня прошли в отчаянной борьбе с буреломом, в проклятиях дождю и взаимных поправках. Я упрекал Канищева в том, что он слишком тихо идёт; он твердил, что нельзя так мчаться, когда нет надежды на иную пищу, кроме рябины и брусники.

Ко всему прочему, видимо для разнообразия, на нашем пути снова встал приток Лупьи – такой же, как первый, глубокий и быстрый. Снова построили мост. Но на этот раз наша переправа упёрлась в крутой и очень высокий песчаный обрыв. В самом начале подъёма вам бросились в глаза большие следы на песке.

– Глядите, друг мой Коко, здесь недавно был человек! – обрадовался Канищев. – Ясный след. Молодец-то какой здесь пер! Точно лестницу построил. А комплекция у него была основательная: ишь как промял песок!

– Да! Комплекция преосновательная, – согласился я, заметив, что каждый след лапищи кончается совершенно отчётливым рядом здоровых когтей. —Тут пер ваш тёзка – Миша.

– Не хотел бы я повстречаться с ним здесь.

Одолели мы кручу откоса и на следующем роздыхе

обнаружили невозместимую утрату: с ремённой привязи где-то, видимо в чаще, у меня сорвало топор. Финский нож Канищева был давно потерян. Мы остались с голыми руками. Силы убывали. Плечи ломило от ремней. Руки болели до такой степени, что с трудом держали палку. Усталость во всем теле дошла до того, что и я перестал уже нагибаться за брусникой.

Этот день стоил нам ещё одной большой потери. Мы понесли её добровольно, но от этого она была ещё чувствительней и казалась нам почти преступлением: решили вскрыть барограф, сняли с барабана барограмму, а прибор бросили.

У Канищева стояли слезы на глазах:

— Ведь, по регламенту состязаний, это означает нашу дисквалификацию.

Однако вопрос стоял просто: сидеть с барографом между какими-нибудь гостеприимными стволами, пока зимою не придут люди и не найдут наши скелеты плюс барограф, или, бросив всю лишнюю ношу, все же пытаться найти жильё минус барограф? Ну, а слезы Канищева... Так он же вообще стал немного слезлив. Я уже несколько раз ловил его на том, что он украдкой утирает глаза. Правда, пока только на роздыхе.

Но в том-то и была беда, что роздыхи становились все чаще и длительней. Я мог закрывать глаза на то,

что мало-помалу исчезала жизнерадостность моего спутника; я мог делать вид, будто не замечаю, как из тучного, розовощёкого, любителя поострить он превращался в апатичного соглашателя, готового на всё, что ни предложишь; я даже мог не особенно тревожиться по поводу того, что кожа его стала походить на измятый серый саван, который не по мерке скелету. Но я не имел права не замечать, что Канищеву просто не под силу идти. Это могло означать гибель для нас обоих. И я понимал, что если не поддержать его силы – да, говоря откровенно, и мои тоже, – где-то недалеко конец.

На привалах, ставших теперь более затяжными, чем переходы, Канищев, сидя, быстро засыпал. Он был так слаб и, вероятно, так остро нуждался в отдыхе, что однажды не проснулся, даже свалившись с пенька.

По-видимому, наступил тот крайний случай, для которого я берег обойму в своём пистолете. И, оставив спящего я ушёл. Впрочем «ушёл» – это не совсем точно. Мне нужно было сделать всего лишь несколько шагов, чтобы наткнуться на дичь: большой осенний глухарь рухнул с ветки в двадцати шагах впереди меня. Я выстрелил раз, другой. Было ясно, что мои ослабевшие руки не слишком-то приспособлены для стрельбы по стремительно движущейся цели. Но

азарт и обида заставили меня в третий раз нажать на спуск. Увы, третий выстрел был так же безуспешен, как первые два. Со всей доступной моим ослабевшим ногам быстротой я устремился вперёд вслед за глухарём. И я его скоро увидел. А может быть, это был совсем другой? С закушенной от досады губой я прицелился и выстрелил ещё два раза. Теперь у меня не было ни глухаря, ни пяти патронов, истраченных попусту. Поняв наконец, что нельзя стрелять, когда пистолет едва держится в руке, я, понутив голову, вернулся к Канищеву. Он проснулся и, очевидно, понял, что означали выстрелы: выйдя из чащи, я встретился с его жадным взглядом. Но в руках у меня не было ничего, что можно было есть, — только пистолет с двумя последними патронами.

— Оставьте их на всякий случай, — хмуро сказал Канищев. — Мало ли что...

— Медведь? — спросил я.

— Может быть, и медведь... — ответил он и отвёл глаза.

К ночи мы наскоро сложили себе шалаш. Это было зыбкое сооружение из хвороста. Нам нечем было даже нарезать лапника для постели, а наломать его не хватало сил.

Разрезав лезвием бритвы крагу на стёртой до крови ноге, я заснул у костра с зажатым в кулаке писто-

летом. Канищев вооружился фонарём. Это оружие он считал самым надёжным в случае визита медведя.

– Как засвечу в морду, будет версту бежать!

Сегодня небеса нас пожалели. Дождь прекратился. У костра, который мы по очереди поддерживали почти до утра, можно было немного обсохнуть и обогреться. После ночлега в сене эта ночь на высоком обрыве под ясным небом, над самой рекой, тёмной лентой уходящей в наше неведомое будущее, была первой сносной ночью.

К рассвету мы оба уснули, и костёр погас. Как всегда, проснулись от холода. Станным было ощущение, что не хватает сил подняться с земли. Но оказалось, что дело не только в слабости: одежда крепко примёрзла к валежнику, на котором мы лежали, покрылась ледяной коркой и при каждом движении лопалась, как стеклянная.

Поспешно раздули на тлевших под пеплом костра угольках огонь. Скоро отогрели заоченевшие ноги и руки. Но лицо у Канищева почему-то оставалось совсем синим – так по крайней мере оно выглядело под неопрятной порослью бороды.

На завтрак нет ничего. Вокруг – ни одной рябины. Только брусника в изобилии розовеет во мху между деревьями. Она ещё не совсем созрела, но ничего

лучшего нет. Канищев больше не острит по поводу меню. Он молча опускается на колени и, переползая от кустика к кусту, ртом срывает ягоды.

У меня кружится голова, когда я пробую нагибаться, и потому, отбросив стыд, я следую примеру Канищева: ползаю на четвереньках. Собственно говоря, это только иллюзия еды – ягоды водянисты и ничего, кроме оскомины, не вызывают. Не знаю, сколько нужно их съесть, чтобы насытиться, но чтобы вырвало, теперь их нужно совсем не так много.

И всё-таки сегодня седьмой день, как мы идём, и пятый день, как не едим ничего, кроме брусники. Из попытки разделить полдневный паёк на восемь дней ничего не вышло. С большим трудом его растянули на два дня. Интересно, сколько же эта машина-человек может двигаться без топлива, на одной воде? На воде и сонетах... Честное слово, интересно!..

Сегодня наша поклажа сделалась ещё легче: мы лишились обеих нарзанных бутылок, утопленных Канищевым одна за другой при попытке набрать воду. Теперь нам не в чём её держать. Стало легче на целый килограмм, но идти от этого не лучше. Ноги двигаются почти машинально, препятствия кажутся ещё труднее и непреодолимее, чем раньше.

Канищев совсем помрачнел.

На очередном роздыхе, поборов сонливость, он

сказал:

– Вот что, дорогой мой маэстро. Если мы сегодня не встретим жилья или просто людей, дальше я не иду. Надо попробовать раздобыть настоящую пищу. Ведь у нас есть ещё два патрона. Поедим, отдохнём день-другой... а там будет видно, что делать.

Мне казалось, что он и сам не хуже меня понимает несбыточность такой мечты. В создавшихся условиях стрельба из пистолета по летящей птице – пустая трата зарядов. Осталось одно – идти. Непременно идти.

И мы шли.

Медленно, едва продвигаясь в чаще.

Шли почти без надежды увидеть людей.

Скупое посветившее солнце снова ушло за завесу нудного, мелкого дождика, и мы – в который уж раз – промокли до нитки. Но вот во второй половине дня мы повстречали один за другим несколько стогов. Эти стога были свежее того, прежнего, где мы ночевали. Вероятно, люди приходили сюда летом. На береговой отмели лежало и полусопревшее, ещё не собранное сено.

Да, здесь пахло человеком.

Но человека не было.

– Ого-го-го!.. Ого-го!..

Лес угрюмо молчал, возвращая нам только эхо.

Канищев присел на пень. Вид у него был уже не про-

сто унылый, как прежде, а донельзя жалкий. Щеки висели, как грязные порожние мешки, и очки не скрывали чёрных впадин глазниц. Губы совсем посинели.

– Знаете что, маэстро?.. Погуляли – и будет.

– Ну, это к черту! Надо идти.

– Идите, если охота, а по мне – лучше помереть, читая хорошие стихи. Вчера я вам говорил о двадцати пяти шансах из ста на встречу с людьми, а сегодня не вижу и пяти.

Посидев на пне, он сполз на землю. Она была пропитана водой и громко чавкнула под ним. Но, казалось, Канищеву это было уже безразлично. Некоторое время он сидел с закрытыми глазами, прислонившись к пню и закинув голову с полуоткрытым ртом. Он тяжело дышал. Но постепенно дыхание делалось ровней. Он открыл глаза, поглядел на меня и усмехнулся.

– Пожалуй, я прав, – сказал он с невесёлой усмешкой. – Помирать – так с музыкой!.. А есть ли для человека звуки слаще музыки стиха?.. Ежели вы когда-нибудь захотите ею насладиться, возьмите итальянцев, только, конечно, не немцев и не англичан... Шекспира я люблю за мозги... А итальянцы хороши звучанием. Когда вернётесь, найдите у меня в шкафу Петрарку... Попробуйте почитать. Удивительно!..

– Я не знаю итальянского, – ответил я так серьёзно, словно только в этом и было сейчас дело.

И в тон мне он так же серьёзно продолжал:

– Не беда... Поэзия – не только музыка звучаний. Симфония стиха в лаконичности больших мыслей... Да нет, даже не в лаконичности... Одним словом, послушайте.

Он обнажил голову, и в руках у него опять появился сафьяновый томик Шекспира. Я даже не заметил, когда он успел переложить книжку в шапку. Я думал, что она осталась висеть на сосне вместе со всем, что было в брошенном мешке.

По мере того как Канищев шарил в карманах, лицо его отражало все большее беспокойство.

– А вы знаете, – сказал он печально, – ведь я потерял очки. – И ещё раз ощупал карманы. – Увы... – Он протянул мне красный томик: – Откройте-ка страницу сто восьмидесятую... Нет, вероятно, между сто восьмидесятой и сто девяностой... Сонет начинается так:

Моя душа, ядро земли греховной...

– Нашли?

Я нашёл и продолжил:

Мятежным силам отдаваясь в плен,
Ты изнываешь от нужды духовной...

Но он прервал меня:

– Нет, не нужно... Это, по-моему, неверно... Там есть завет таким, как я. Его сейчас не следовало бы и вспоминать, но все же я хочу его услышать, чтобы ещё раз самому себе сказать: нельзя, нельзя уходить из этого мира, не оставив себя в будущем. Любимое дело?.. Стихи?.. Даже любовь?.. Так кажется почти нам всем, а вот когда придёшь к такому рубежу... Как это сказано у него:

Достойней прозвучали бы слова:
– Вы посмотрите на моих детей.
Моя бывая свежесть в них жива,
В них оправдание старости моей.

И, подумав, продолжал:

– Да, вероятно, в этом подлинный смысл бытия...

Он взял у меня из рук томик и огрызком карандаша поперёк первой страницы написал: «Лупья, 7 октября 1925. В последний день пути».

И возвратил мне томик:

– На память... Мне он больше не понадобится.

Он писал без очков, и надпись вышла кривая, с неровными буквами.

Я бережно завернул книжечку в то, что когда-то было носовым платком.

– Спасибо за подарок, но... он перестанет быть мне дорог, если вы не поборете своего дурного настрое-

ния... Сегодня мы переночуем здесь, завтра утром...

Вероятно, я не был очень уверен в том, что будет завтра утром. Канищеву легко удалось перебить меня:

– Набейте-ка мне трубку... Кажется, есть ещё щепотка табаку. Вот уж воистину будет трубка мира... трубка умиротворения.

9. Все возратить ты можешь многократно!

Когда я набивал трубку, взгляд мой упал на шапку Канищева, лежавшую у наших ног. В её подкладку была воткнута игла с намотанной на неё длинной ниткой. Идея, может быть, и несбыточная, но показавшаяся мне почти гениальной, осенила меня. Я веял эту нитку и сплёл втрое, к концу прикрепил загнутую иголку. Я был совершенно уверен, что, привязав эту лесу с крючком к длинному пруту, получу удочку. Поплавок был сделан из сухой сосновой шишки. Для наживки я разжевал кусок бумаги, и со всем этим отправился к реке.

Крючок с приманкой заброшен. Удилище крепко, как самая большая и последняя драгоценность, зажато в дрожащих руках.

Вокруг нет ничего, кроме дремучего леса, брусники и медвежьих следов. Но, вероятно, именно потому, что нет никаких средств перебраться через широкую, быструю реку, она кажется мне рубежом, предательски отгораживающим нас от жилья, от людей, от жизни. Это ощущение так сильно, так реально, что я уже отчётливо вижу на другом берегу вьющийся над ма-

кушками елей синеватый дымок костра или избы. Мне чудится даже, что я чувствую тепло этого дыма, слышу его милый запах.

Чтобы отделаться от галлюцинации, с досадой опускаю взгляд на поплавок. Набираю воду в нашу единственную кружку и с трудом расправляю затёкшие ноги. И тут же рука моя, держащая кружку, опускается, вода льётся мне на ноги. Я готов закричать от досады. Дымок по-прежнему стоит у меня перед глазами. Только этого не хватало – бредить наяву!.. Стиснув зубы, снова наклоняюсь к воде. Но помимо воли взгляд исподтишка следит за дымком. Под ударами ветра его сине-серая струйка волнуется, трепещет, то стремительно взлетает вверх, то стелется над вершинами леса. Отворачиваюсь и лезу вверх по обрыву. Стараюсь думать только о том, чтобы не потерять удочку. Но, взобравшись наверх, я не могу совладать с собою и оглядываюсь. Дым стал ещё гуще, он ещё веселее навивается к небу. Я не выдерживаю и, к изумлению Канищева, бросив драгоценную удочку, складываю ладони рупором и что есть силы кричу:

– Ого-го!..

Мы не сразу в состоянии оценить все значение того, что на той стороне реки из-за кустов вышел мальчик. Это не галлюцинация. Это самый реальный жи-

вой мальчуган лет десяти с выгоревшими до белизны вихрами волос, в белой рубахе без пояса и коротких, чуть пониже колен, полосатых портах. В этот миг не было, кажется, ничего глупее традиционного изображения ангела – в длинном хитоне, с крыльями за спиной, – но нам казалось, что так, именно так, как этот деревенский мальчик, должен выглядеть добрый ангел-хранитель из русских сказок.

Канищев приподнялся на руках и, так же как я, молча с удивлением глядел на ребёнка. И воистину нет границ человеческим странностям: никто из нас не крикнул о том, что мы голодны, что один из нас не может больше двигаться. В один голос, перебивая друг друга, мы закричали:

– Эй, мальчик! Что это за река?

– А Лупья, однако, – ответил мальчик с таким видом, словно говорил с дурачками.

И что же порадовало меня больше всего в этом ответе?..

– Ага, значит ориентировка верна!

– А кто ты, мальчик? – вежливо спросил Канищев.

– Хрестьяне.

– Ты здесь один?

– Не.

– А с кем ты?

– С батей.

– Позови батю.

Мальчик подумал, повернулся и не спеша ушёл в лес.

Долго ждём, никто не появляется. Закрадывается страх: не ушёл ли паренёк совсем? Время идёт, страх переходит в настоящее отчаяние. Мы принимаемся звать что есть силы. Но на крики никто не выходит.

Наконец, когда мы совсем осипли, появляется тот, же мальчик.

– Цаво?

– Батю, батю-то позови!

Парень нехотя оборачивается и кричит:

– Тять, а тять!.. Однако беглые клицут.

Вышел мужчина в серой домотканой одежде, с топором у пояса. Начался опасливый допрос.

Переговоры кажутся нам нескончаемо долгими. Лесоруб хочет знать о нас все: кто, откуда, зачем, есть ли оружие. Он полон недоверия и опасений. Видно, жизнь в этих далёких лесах не обеспечивает от неприятных встреч. Наконец нам удаётся убедить его в том, что мы не убежали из лагеря, не имеем никаких дурных намерений, только и мечтаем о том, чтобы поскорее найти каких-нибудь представителей власти. Ещё поразмыслив, лесоруб наконец вытаскивает из-за пояса топор и принимается за дело. Одна за другой падают под звенящими ударами ёлки. Вихрастый паре-

нёк проворно освобождает их от ветвей, и через какой-нибудь час готов плот, а ещё через полчаса мы сидим на том берегу возле костра Павла Тимофеевича Серавина, крестьянина деревни Ржаницинской. Он пришёл сюда накануне косить. Пришёл косить? Значит, деревня рядом?.. Ну конечно, рукой подать!

– Двенадцать вёрст напрямки будя.

– А если идти рекой, берегом, как мы шли? – интересуется Канищев.

Серавин подумал.

– Суток, однако, на двое пути хватит.

Канищев качает головой: ему ни за что не дойти.

Павел Тимофеевич говорит много и быстро, но понимаю я мало: путают ухо «ч» вместо «ц», а «ц» вместо «ч».

Пока над костром сушится обувь, Канищев спрашивает Серавина и посвящает меня в историю этих краёв:

– Это – самый чистый русский народ, какой, вероятно, у нас сохранился, – говорит он уверенно. – Заметьте, здесь никогда не было крепостного права. Полная самостоятельность и независимость всегда отличали этот край. Теперешняя Северо-Двинская губерния, а прежде Вологодская, сохранила черты оригинальной северной культуры.

Все это произносится так, словно договориться

именно об этом сейчас важнее всего; словно это кто-то другой, а не он, Канищев, восемь суток ничего не ел, не он собирался умирать на последнем привале.

– Это вы верно, – прислушавшись, отозвался Серавин, – крепостного права здесь не бывало. Однако вот прежде по всей Выцегде сидели Строганы. Их места были. Строганы да монахи... Тут скитов – что деревьев. Но мы все одно, однако, были вольными, – с гордостью добавил он.

Серавин-отец просушил у костра намокшие онучи и стал обуваться. Глядя на него, начал обуваться и мальчик. Они делали это рачительно, крепко заматывая онучи и обвязывая ремешками от поршней. Потом Серавин оглядел нашу обувь, ничего не сказал, но по тому, как он покачивал головой и цокал языком, можно было судить о недоверии, какое внушали ему наши опорки. Подумав, он велел сыну вырубить четыре длинных жердины. Назначение их оставалось для нас загадочным до самого того момента, как Серавин построил нас в походный порядок. Первым шёл он сам с довольно тяжёлой жердиной, которую держал в руках поперёк пути, как канатоходцы держат свои балансирующие палки. Вторая жердина – поменьше – была дана мальчику для той же цели. Остальные две служили как бы своеобразными перилами, тянувшись от отца к сыну по правую и левую сторону от

нас, грешных. Серавины – большой и малый – укрепили эти поручни у себя под мышками таким образом, что Канищев как бы повис на них. Я сделал было попытку занять последнее место в процессии, но Серавину не пришлось тратить много слов, чтобы убедить меня в том, что и мне, хотя я чувствую себя гораздо бодрее Канищева, лучше держаться возле поручней. Для убедительности Серавину было достаточно показать мне открывшуюся за ближайшими деревьями переправу через широчайшее болото: брошенные без всякой крепи жердины, где две рядом, а где и в один ряд. Я понял, что пробалансировать по такому «мосту» будет не легко.

Мы пошли. Отец ловко скользил мягкими поршнями по жердям, за ним, едва передвигая ноги и всю тяжестью повиснув на «поручнях», плёлся Канищев.

Скоро я увидел, что за осокой, куда уходил конец того, что я принял за переправу, открывается новое болото, за ним третье – и так без конца-краю, без перемычек суши.

– Велико ли болото-то? – спросил я.

– Да вёрст с десяток будя, – спокойно ответил Серавин.

Я со страхом подумал о том, как-то пройдут эти десять вёрст наши спасители, почти неся Канищева.

– А всего до деревни? – спросил я опять.

– Чельных двенадцать, – как ни в чём не бывало бросил замыкавший шествие мальчуган.

Его отец передвигал ноги, не отрывая их от жердей. Я пробовал делать так же, но каблуки то и дело соскальзывали с круглых тонких жердин, к тому же подчас влажных или обомшелых. Колени у меня дрожали от напряжения, и остатки рубахи на спине взмокли от пота. Временами казалось, что я изнемогаю. Не лучше ли признаться в своём бессилии, сесть на жердь и – будь, что будет? Но сзади меня слышалось ровное дыхание мальчугана. Мне было мучительно стыдно. Я глотал слезы и, подавляя готовое вырваться рыдание, заставлял израненные, дрожащие, как у старика, ноги двигаться – делать шаг, ещё и ещё...

Вероятно, это было очень трудно, потому что к концу пути я не очень хорошо понимал, что происходит вокруг, и пришёл в себя уже на твёрдой земле, возле избы, услышав хриплую жалобу Канищева:

– Ну и версты же у вас, Павел Тимофеевич!

– Версты – они у нас не меряны. Так ведь, по ходу считаем. Может статься, и гаку маненько есть.

– Да на двенадцать-то вёрст гаку не меньше шести.

– Может, однако, статься.

...Но наконец мы в просторной, светлой избе. Жильё во втором этаже высокого дома. Внизу – кладовые. Хозяйка, куча ребят, недоуменно глазеющих на

нас из-за печки, на всем следы домовитой опрятности, того особенного, крестьянского довольства, которое происходит не от избытка, а от бережливости.

Сбросили опорки и лохмотья и сдали хозяйке – сушиться, чиниться. Скоро на столе шумел самовар и сковородка глядела на нас с шестка большими жёлтыми очами шипящих яиц.

Много рассказывал нам хозяин о том, как живёт здесь народ. Не легко даётся хлеб человеку. Мало земли. Кругом леса да болота. Сено везут за десятки вёрст. Зимой идут на лесозаготовки Северолеса. Получают по полтиннику с пятивершкового ствола – с валкой, вывозкой и разделкой на берегу. А за сплочение и сплав – ещё по двугривенному. В зиму выходит по двести стволов с человека. Рублей полтора-ста. Харч свой. Жильё тоже своё. Вот в таких зимовьях, какое попало нам, и живут.

– Почему же вы не строите в зимовьях настоящих печей, с трубами? – интересуется Канищев. – Ведь дым может просто задушить.

– А простая печька нам не годицца. Мало тепла от неё. День-деньской по пояс в снегу, а весной во льду вороцаешься. К вечеру, как придёшь, тела не цуешь. У печи простой и просохнуть неможно. А такой вот оцаг, как у нас, жару даёт много больше. Ну, Миколай Миколаиц, цайку-то есцо стаканчик?

И хозяин цедит мне из самовара кажется десятый стакан.

Изба набивается полным-полнешенька. В деревне всего восемь дворов, но народу в них не меньше сотни. Мужики – народ все здоровый, степенный. Разговор ведётся серьёзный. Расспросы больше о том – зачем мы летали, да как? Зачем сели в таком медвежьем углу? Удивление общее, что выбрались целы из лесу. Край кишмя кишит, по словам крестьян, медведями.

Ещё не так давно грамотными здесь были только те, кто возвращался с военной службы. Зато тут все, большие и малые, знают компас.

– Во, буссоль-то у вас была, это ладно, – говорит большой бородатый мужчина. – А то бы ни в жисть и не выйти вам из лесу.

– А вы давно знаете компас?

– Как себя помним. У нашей артели свой. Старый вот только, деревянный ещё. От дедов достался. А без него нельзя.

Газета бывает здесь иногда у хозяйского брата, Зотея Тимофеича.

Ночью простились с хозяевами и в лодке отправились на другую сторону Вычегды, в Сойгу, ждать парохода.

– А когда он здесь ходит? – спросили мы у хозяина.

– Точно сказать затруднительно. Вот нынче прошёл, к примеру, тот, что должен был идти третьеводнись. Мозет, завтра пойдёт, а мозет, и через неделю. Да там, в Сойге, подоздете. Там у Якова Ивановича дом не хузе других. И харц он вам предоставит.

Действительно, дом у этого Якова Ивановича оказался преотличный.

Мы жили у него четыре дня до парохода. Отсюда же и депешу отправили в Москву – с нарочным на телеграф, за пятнадцать северо-двинских вёрст.

А потом поплыли по Вычегде на стареньком, скрипучем пароходике. На палубе громоздились зыряне с востроносими лайками – на Урал за охотой. А в буфете первого класса, куда нас, оборванных и грязных, пустили с явной опаской, заразительно вкусно дымилось в стаканах кофе и разносился запах ветчины, поджаренной с луком.

...Разноцветное поле карты-десятиверстки безобидно глядело на нас зелёными узорами лесов. Все на ней было так просто, ясно и мирно. Моя курсовая черта уверенной чёрной стрелой упиралась в излучину Лупьи. Всего каких-нибудь пять дюймов, не больше, отделяли место нашей посадки от жилья.

И на этих-то пяти дюймах мы восемь суток боролись с лесными завалами? Чудну и даже немного стыдно. А впрочем, плохо подсыхающие ссадины рук

и гноящаяся рана на ноге говорят о том, что прогулка была не лёгкой.

Но дело не в ссадинах. Даже не в пяти предательских дюймах карты, отделявших нас от жизни. Больше всего занимает вопрос: где остальные участники состязаний? Кто пролетел дальше всех? Ох, скорей бы добраться к газетам!

...И вот мы в Москве. Полёта нам не засчитали, хотя наш шар прошёл немного большее расстояние, чем шар Федосеенко и Ланкмана. По регламенту состязаний, барограф должен был быть представлен жюри в запечатанном виде, а ведь мы принесли только вынутую из прибора барограмму, Поэтому победителями все же признаны Федосеенко и Ланкман. Вполне справедливо, но очень обидно и немножко стыдно. Неужели так-таки и нельзя было не бросить барограф?

— Это вы виноваты, маэстро, — не очень уверенно попрекнул меня Канищев. — Если бы не так обо мне заботились, не бросили бы прибор...

Но сейчас же, чтобы загладить этот выпад, он взял меня под руку.

Мы вянем быстро — так же, как растём,
Растём в потомках, в новом урожае...

И тут я достал из кармана и отдал ему сафьяновый томик Шекспира. Это не тот, это мой, но он почти так же хорош, как подаренный мне на берегу Лупьи. А тот, заветный, на переплёте которого остались следы бо-лотной воды и в алый сафьян которого въелась жир-ная копоть костров? Вот уже тридцать лет стоит он в моем шкафу за стеклом, хранится так, как если бы надпись на первом его листке сделал сам Шекспир. Ведь он был вместе с нами! Да, да, что бы мне ни го-ворили – он был с нами. Разве это не он мок в боло-тах, коптился у костров, ел бруснику? И потому нико-гда не расстанусь я с этой книжечкой. Она как красный камень на дороге моей жизни, камень, у которого я и свернул сюда, в литературу...

Село Медвежье на Вычегде – Москва, 1926.

